

Николай Семёнович Лесков

Грабеж

<http://www.lib.ru>

Николай Семёнович Лесков

ГРАБЕЖ

Глава первая

Шел разговор о воровстве в орловском банке, дела которого разбирались в 1887 году по осени.

Говорили: и тот был хороший человек, и другой казался хорош, но, однако, все проворовались.

А случившийся в компании старый орловский купец говорит:

– Ах, господа, как надойдет воровской час, то и честные люди грабят.

– Ну, это вы шутите.

– Нимало. А зачем же сказано: «Со избранными избран будеши, а со строптивыми развратишия»? Я знаю случай, когда честный человек на улице другого человека ограбил.

– Быть этого не может.

– Честное слово даю – ограбил, и если хотите, могу это рассказать.

– Сделайте ваше одолжение.

Купец и рассказал нам следующую историю, имевшую место лет за пятьдесят перед этим в том же самом городе Орле, незадолго перед знаменитыми орловскими истребительными пожарами. Дело происходило при покойном орловском губернаторе князе Петре Ивановиче Трубецком.

Вот как это было рассказано.

Глава вторая

Я орловский старожил. Весь наш род – все были не последние люди. Мы имели свой дом на Нижней улице, у Плаутина колодца, и свои ссыпные амбары, и свои барки; держали артель трепачей, торговали пенькой и вели хлебную ссыпку. Отчаянного большого состояния не имели, но рубля на полтину никогда не ломали и слыли за людей

честных.

Отец мой скончался, когда мне пошел всего шестнадцатый год. Делом всем правила матушка Арина Леонтьевна при старом приказчике, а я тогда только присматривался. Во всем я, по воле родительской, был у матушки в полном повиновении. Баловства и озорства за мною никакого не было, и к храму Господню я имел усердие и страх. Еще же жила при нас маменькина сестра, а моя тетенька, почтенная вдова Катерина Леонтьевна. Это – уж совсем была святая богомолка. Мы были, по батюшке, церковной веры и к Покрову, к препочтенному отцу Ефиму приходом числились, а тетушка Катерина Леонтьевна прилежала древности: из своего особого стакана пила и ходила молиться в рыбные ряды, к староверам. Матушка и тетенька были из Ельца и там, в Ельце и в Ливнах, очень хорошее родство имели, но редко с своими виделись, потому что елецкие купцы любят перед орловскими гордиться и в компании часто бывают воители.

Домик у нас у Плаутина колодца был небольшой, но очень хорошо, по-купчески, обряжен, и житье мы вели самое строгое. Девятнадцать лет проживши на свете, я только и ходу знал, что в ссыпные амбары или к баркам на набережную, когда идет грузка, а в праздник к ранней обедне, в Покров, и от обедни опять сейчас же домой, и чтобы в доказательство рассказать маменьке, о чем Евангелие читали или не говорил ли отец Ефим какую проповедь; а отец Ефим был из духовных магистров, и, бывало, если проповедь постарается, то никак ее не постигнешь. Театр тогда у нас Турчанинов содержал, после Каменского, а потом Молотковский, но мне ни в театр, ни даже в трактир «Вену» чай пить матушка ни за что не позволяли. «Ничего, дескать, там, в „Вене“, хорошего не услышишь, а лучше дома сиди и ешь моченые яблоки». Только одно полное удовольствие мне раз или два в зиму позволялось – прогуляться и посмотреть, как квартальный Богданов с протодьяконом бойцовых гусей спускают или как мещане и семинаристы на кулачки бьются.

Бойцовых гусей у нас в то время много держали и спускали их на Кромской площади; но самый первый гусь был квартального Богданова: у другого бойца у живого крыло отрывал; и чтобы этого гуся кто-нибудь не накормил моченым горохом или иначе как не повредил – квартальный его, бывало, на себе в плетушке за спиною носил: так любил его. У протодьякона же гусь был глинистый, и когда дрался – страшно гоготал и шипел. Публики собиралось множество. А на кулачки биться мещане с семинаристами собирались или на лед, на Оке, под мужским монастырем, или к Навугорской заставе;

тут сходились и шли, стена на стену, во всю улицу. Бивались часто на отчаянность. Правило такое только было, чтобы бить в подвздох, а не по лицу, и не класть в рукавицы медных больших гривен. Но, однако, это правило не соблюдалось. Часто случалось, что стащат домой человека на руках и отысповедовать не успеют, как уж и преставился. А многие оставались, но чахли. Мне же от маменьки позволение было только смотреть, но самому в стену чтобы не становиться. Однако я грешен был и в этом покойной родительнице являлся непослушен: сила моя и удаль нудили меня, и если, бывало, мещанская стена дрогнет, а семинарская стена на нее очень наваливает и гнать станет, то я, бывало, не вытерплю и становлюсь. Сила у меня с ранних пор такая состояла, что, бывало, чуть я в гонимую стену вскочу, крикну: «Господи благослови! бей, ребята, духовенных!» да как почну против себя семинаристов подавать, так все и посыпятся. Но славы себе я не искал и даже, бывало, всех об одном только прошу: «Братцы! пожалуйста, сделайте милость, чтобы по имени меня не называть», потому что боялся, чтобы маменька не узнали.

Так я прожил до девятнадцати лет и был здоров столь ужасно, что со мною стали обмороки и кровь носом шла. Тогда маменька стали подумывать меня женить, чтобы не начал на Секеренский завод ходить или не стал с перекрещенками баловаться.

Глава третья

Начали к нам по этому случаю приходить в салопах свахи, и с Нижнихулиц, и с Кромской, и с Карачевской, и разных матушке для меня невест предлагали. От меня это все велось в секрете, так что все знали больше, чем я. Трепачи наши под сараем, и те, бывало, говорят:

– Тебя, Михаиле Михайлыч, маменька женить собирается. Как же ты сам на это, сколько согласен? Ты смотри – знай, что жена тебя после венца щекотать будет, но ты не робей – ты ее сам как можно щекочи в бока, а то она тебя защекочет.

Я, бывало, только краснею. Догадывался, разумеется, что что-то до меня касается, но сам никогда не слыхал, про каких невест у маменьки с свахами идут разговоры. Как придет одна сваха или другая – маменька с нею запрутся в образной, сядут ко крестам, самовар спросят и все наедине говорят, а потом сваха выйдет, погладит меня по голове и обнадеживает:

– Не тужи, молодчик Мишенька: вот уж скоро не будешь один скучать, скоро мы тебя обрадуем.

А маменька даже, бывало, и за это сердятся и говорят:

– Ему это совсем не надо знать; что я над его головой решу, то с ним и быть должно. Это как в Писании.

Я и не тужил; мне было все равно: жениться так жениться, а придет дело до щекотки, тогда увидим еще, кто кого.

Тетушка же Катерина Леонтьевна шла против маменькиного желания и меня против их научала.

– Не женись, – говорила, – Миша, на орловской – ни за что не женись. Ты смотри: здешние, орловские, все как переверчены – не то они купчихи, не то благородные. За офицеров выходят. А ты проси мать, чтобы она взяла тебе жену из Ельца, откуда мы сами с ней родом Там в купечестве мужчины гуляки, но невесты есть настоящие девицы: не щепотницы, а скромные – на офицеров не смотрят, а в платочке молиться ходят и старым русским крестом крестятся. На такой как женишься, то и благодать в дом приведешь, и сам с женой по-старому молиться начнешь, а я тебе тогда все свое добро откажу, а ей отдам свое Божие благословение, и жемчуг окатный, и серебро, и пронижи, и парчовые шугаи, и телогреи, и все болховское вязание.

И было у тетеньки с маменькой на этот счет тихое между них неудовольствие, потому что маменька уже совсем были от старой веры отставши и по новым святцам Варваре-великомученице акафист читали. Они жену мне хотели взять из орловских для того, чтобы у нас было обновление родства.

– По крайней мере, – говорили, – чтобы на прощенные дни, перед постом, было нам к кому на прощанье с хлебами ездить и к нам чтобы было кому завитые хлебы привозить.

Маменька любили потом эти хлебы на сухари резать и в посту в чай с медом обмакивать, а у тетеньки надо всем выше стояло их древнее благочестие.

Спорили они, спорили, а все дело сделалось иначе.

Глава четвертая

Подвернулся вдруг самый неожиданный случай.

Сидим мы раз с тетушкой, на святках, после обеда у окошечка, толкуем что-то от Божества и едим в поспе моченые яблоки, и вдруг замечаем – у наших ворот на улице, на снегу, стоит тройка ямских коней. Смотрим – из-под кибитки из-за кошмы вылезает высокий человек в калмыцком тулупе, темным сукном крыт, алым кушаком подпоясан,

зеленым гарусным шарфом во весь поднятый воротник оберчен, и длинные концы на груди жгутом свиты и за пазуху сунуты, на голове яломок, а на ногах телячьи сапоги мехом вверх.

Встал этот человек и вытряхивается, как пудель, от снега, а потом вместе с ямщиком зацепил из кибитки из-под кошмы другого человека, в бобровом картузе и в волчьей шубе, и держит его под руки, чтобы он мог на ногах устояться, потому что ему скользко на подшивных валенках.

Тетенька Катерина Леонтьевна очень обеспокоилась, что это за люди и зачем у наших ворот высаживаются, а как волчью шубу увидала, так и благословилая:

– Господи Иисусе Христе, помилуй нас, аминь! – говорит. – Ведь это братец Иван Леонтьич, твой дядя, из Ельца приехал. Что это с ним случилось? С самых отцовых похорон три года здесь не был, а тут вдруг привалил на святках. Скорее бери ключ от ворот, бежи ему навстречу.

Я бросился искать маменьку, а маменька стали ключ искать и насилу его нашли в образнике, да пока я выбежал к воротам, да замок отпирать стали, да засов вытаскивать, тройка уже и отъехала, и тот, что в калмыцком тулупе был, уехал в кибитке, а дядя один стоит, за скобку держится и сердится.

– Что это, – говорит, – вы, как тетери, днем закупорились?

Маменька с ним здороваются и отвечают:

– Разве вы, – говорит, – братец, не знаете, какое у нас орловское положение? Постоянно с ворами, и день, и ночь от полиции запираемся.

Дядя отвечает, что это у всех одно положение: Орел да Кромы – первые воры, а Карачев на придачу, а Елец всем ворами отец. «И мы, – говорит, тоже от своей полиции запираемся, но только на ночь, а на что же днем? Мне то и неприятно, что вы меня днем на улице у ворот оставили:

у меня валенки кожей обшиты – идти нельзя, скользко, – а я приехал по церковной надобности не с пустыми руками. Помилуй бог, какой орловчин с шеи рванет и убежит, а мне догонять нельзя».

Глава пятая

Мы все извинились перед дяденькой, отвели его в комнату из дорожного платья переодеваться. Переобулся Иван Леонтьич из валенков в сапоги, одел сюртук и сел к самовару, а матушка стала его спрашивать: по какому он такому церковному делу

приехал, что даже на праздничных днях побеспокоился, и куда его попутчик от наших ворот делся?

А Иван Леонтьевич отвечает:

– Дело большое. Разве ты не понимаешь, что я нынче ктитор, а у нас на самый первый день праздника дьякон оборвался.

Маменька говорит

– Не слышали.

– Да ведь у вас когда же о чем-нибудь интересном слышат! Такой уж у вас город глохлый.

– Но каким же это манером у вас дьякон оборвался?

– Ах, это он, мать моя, пострадал через свое усердие. Стал служить хорошо по случаю освобождения от галлов, и все громче, да громче, да еще громче, и вдруг как возгласил о «спасении» – так ему жила и лопнула. Подступили его с амвона сводить, а у него уже полон сапог крови натекло.

– Умер?

– Нет. Купцы не допустили: лекаря наняли. Наши купцы разве так бросят? Лекарь говорит: может еще на поправку пойти, но только голоса уже не будет. Вот мы и приехали сюда с нашим с первым прихожанином хлопотать, чтобы нашего дьякона от нас куда-нибудь в женский монастырь монашкам свели, а себе здесь должны выбрать у вас промежду всех одного самого лучшего.

– А это кто же ваш первый прихожанин и куда он отъехал?

– Наш первый прихожанин называется Павел Мироныч Мукомол. На московской богачихе женат. Целую неделю свадьбу праздновали. Очень ко храму привержен и службу всякую церковную лучше протодьякона знает. Затем его все и упростили: поезжай, посмотри и выбери; что тебе полюбится – то и нам будет любо. Его всяк стар и мал почитает. И он при огромном своем капитале, что три дома имеет, и свечной завод, и крупчатку, а сейчас послушался и для церковной надобности все оставил и полетел. Он пока в Репинской гостинице номер возьмет. Шалят у вас там или честно?

Маменька отвечают:

– Не знаю.

– То-то вот и есть, что вы живете и ничего не знаете.

– Мы гостиниц боимся.

– Ну да ничего; Павла Мироныча тоже нелегко обидеть: сильнее его ни в Ельце, ни

в Ливнах кулачника нет. Что ни бой – то два да три кулачника от его руки падают. Он в прошлом году, постом, нарочно в Тулу ездил и даром что мукомол, а там двух самых первых самоварников так сразу с грыжей и сделал.

Маменька и тетенька перекрестились.

– Господи! – говорят, – зачем же ты такого к нам с собой на святые вечера привез!

А дяденька смеется:

– Чего, – говорит, – вы, бабы, испугались! Наш прихожанин – хороший человек, и по церковному делу мне без него обойтись невозможно. Мы с ним приехали на живую минуту, чтобы обобрать в свою пользу, что нам годится, и уехать.

Матушка с тетей опять ахнули.

– Что ты это, братец, зачем такое страшное шутишь!

Дядя еще веселее рассмеялся.

– Эх вы, – говорит, – вороны-сударыни, купчихи орловские! У вас и город-то не то город, не то пожарище – ни на что не похож, и сами-то вы в нем все, как копчушки в коробке, заглохли! Нет, далеко вам до нашего Ельца, даром что вы губернские. Наш Елец хоть уезд-городок, да Москвы уголок, а у вас что и есть хорошего, так вы и то ценить не можете. Вот мы это-то самое у вас и отберем.

– Что же это такое?

– Дьякон нам хороший в приход нужен, а у вас, говорят, есть два дьякона с голосами: один у Богоявления, в Рядах, а другой на Дьячковской части, у Никития. Выслушаем их во всех манерах, как Павел Мироныч покажет, что к нашему к елецкому вкусу подходящее, и которого изберем, того к себе сманим и уговор сделаем; а который нам не годится – тому во второй номер: за беспокойство получай на рясу деньгами. Павел Мироныч теперь уже поехал собирать их на пробу, а мне сейчас надо идти к Борисоглебскому соборцу; там, говорят, у вас есть гостинник, у которого всегда пустая гостиница. Вот в этой в пустой гостинице возьмем три номера насквозь и будем пробу делать. Должен ты, брат Мишутка, сейчас меня туда вести в провожатых.

Я спрашиваю:

– Это вы, дяденька, мне говорите?

Он отвечает:

– Известно, тебе. Кто же еще, кроме тебя, Мишутка? Ну, а если обижаешься, так, пожалуй, назову тебя Михаиле Михайлович: окажи родственную услугу – проводи, сделай милость, на чужой стороне дядю родного.

Я откашлянулся и вежливо отвечаю:

– Это, дяденька, состоит не в том расчислении: я ничем не обижаюсь и готов со всей моей радостью, но я сам собой не владею, а как маменька прикажет.

Маменьке же это совершенно не понравилось.

– Зачем, – говорит, – вам, братец, в такую компанию с собой Мишу брать? Можно сделать, что вас другой кто-нибудь проводит.

– Мне с племянником-то приличней ходить.

– Ну, что он еще знает!

– Да небось все знает. Мишутка, знаешь все?

Я застыдился.

– Нет, – говорю, – я всего знать не могу.

– Почему же так?

– Маменька не позволяют.

– Вот так дело! А как ты думаешь: родной дядя всегда может во всем племянником руководствовать или нет? Разумеется, может. Одевайся же сейчас и пойдем во все следы, пока дойдем до беды.

Я то тронусь, то стою, как пень: и его слушаю, и вижу, что маменька ни за что не хотят меня отпустить.

– У нас, – говорят, – Миша еще млад, и со двора он в вечернее время никуда выходить не обык. Зачем же тебе его непременно? Теперь не оглянись, как и сумерки, и воровской час будет.

Но тут дядя на них даже и покричал:

– Да полно вам, в самом деле, дурачиться! Что вы это парня в бабьем рукаве парите! Малый вырос такой, что вола убить может, а вы его все в детках бережете. Это одна ваша женская глупость, а он у вас от этого хуже будет. Ему надо развитие сил жизни иметь и утверждение характера, а мне он нужен потому, что, помилуй бог, на меня в самом деле в темноте или где-нибудь в закоулке ваши орловские воры нападут или полиция обходом встретится – так ведь со мной все наши деньги на хлопоты... Ведь сумма есть, чтобы и оборванного дьякона монашкам сбыть, и себе сманить сильного... Неужели же вы, родные сестры, столь безродственны, что хотите, чтобы меня, брата вашего, по голове огрели или в полицию бы забрали, а там бы я после безо всего оказался?

Матушка говорит:

– Боже от этого сохрани – не в одном Ельце уважают родственность! Но ты возьми с собой приказчика или даже хоть двух молодцов из трепачей. У нас трепачи из кромчан страсть очень сильные, фунтов по восьми в день одного хлеба едят без приварка.

Дядя не захотел.

– На что, – говорит, – мне годятся наемные люди? Это вам, сестрам, даже стыдно и говорить, а мне с ними идти стыдно и страшно. Кромчане! Хороши тоже люди называются! Они пойдут провожать, да сами же первые и убьют, а Миша мне племянник, – мне с ним по крайней мере смело и прилично.

Стал на своем и не уступает:

– Вы, – говорит, – мне в этом никак отказать не можете, – иначе я родства отрекаюсь.

Этого маменька с тетенькой испугались и переглядываются друг на дружку: дескать, что нам делать – как быть?

Иван Леонтыч настаивает:

– И то, – говорит, – поймите: можете ли вы еще отказать для одного родства? Помните, что я его беру не для какой-нибудь своей забавы или для удовольствия, а по церковной надобности. Посоветуйтесь-ка, можно ли в этом отказать? Это отказать – все равно что для Бога отказать. А он ведь раб Божий, и Бог с ним волен: вы его при себе хотите оставить, а Бог возьмет да и не оставит.

Ужасно какой был на словах убедительный.

Маменька испугались.

– Полно тебе, пожалуйста, говорить такие страсти.

А дядя опять весело расхохотался.

– Ах, вороны-сударыни! Вы и слов-то силы не понимаете! Кто же не раб божий? А я вот вижу, что вам самим ни на что не решиться, и я сам его у вас из-под крыла вышибу...

И с этим хватить меня за плечо и говорит:

– Поднимайся сейчас, Миша, и одевай гостиное платье, – я тебе дядя и старик, седых лет доживший. У меня внуки есть, и я тебя с собою беру на свое попечение и велю со мной следовать.

Я смотрю на мать и на тетеньку, а самому мне так на нутре весело, и эта дяденькина елецкая развязка очень мне нравится.

– Кого же, – говорю, – я должен слушать?

Дядя отвечает:

– самого старшего надо слушать – меня и слушай. Я тебя не на век, а всего на один час беру.

– Маменька! – вопию. – Что же вы мне прикажете?

Маменька отвечают:

– Что же... если всего на один час, так ничего – одевай гостиное платье и иди проводи дядю; но больше одного часу ни одной минуты не оставайся. Минуту промедлишь – умру со страху!

– Ну вот еще, – говорю, – приключение! Как это я могу в такой точности знать, что час уже прошел и что новая минута начинается, – а вы меж тем станете беспокоиться...

Дядя хохочет.

– На часы, – говорит, – на свои посмотришь и время узнаешь.

– У меня, – отвечаю, – своих часов нет.

– Ах, у тебя еще до сей поры даже и часов своих нет! Плохо же твое дело!

А маменька отзываются:

– На что ему часы?

– Чтобы время знать.

– Ну... он еще млад... их заводить не сумеет... На улице слышно, как на Богоявлении и на Девичьем монастыре часы бьют.

Я отвечаю:

– Вы разве не знаете, что на богоявленских часах вчера гиря сорвалась и они не бьют.

– Ну так девичьи.

– А девичьих никогда не слышно.

Дядя вмешался и говорит:

– Ничего, ничего; одевайся скорей и не бойся просрочить. Мы с тобою зайдем к часовщику, и я тебе в подарок часы куплю. Пусть у тебя за провожанье дядина память будет.

Я как про часы услышал – весь возгорелся: скорее у дяди руку чмок, надел на себя гостиное платье и готов.

Маменька благословила и еще несколько раз сказала:

– Только на один час!

Глава шестая

Дяденька был своего слова барин. Как только мы вышли, он говорит:

– Свисти скорее живейного извозчика – поедem к часовщику.

А у нас тогда, в Орле, путные люди на извозчиках по городу еще не ездили. Ездили только какие-нибудь гуляки, а больше извозчики стояли для наемщиков, которые в Орле за других во все места в солдаты нанимались.

Я говорю:

– Я, дяденька, свистать умею, но не могу, потому что у нас на живейниках наемщики ездят.

Он говорит: «Дурак!» – и сам засвистал. А как подъехали, опять говорит:

– Садись без разговора! Пешком в час оборотить к твоим бабам не успеем, а я им слово дал, и мое слово – олово.

Но я от стыда себя не помню и с извозчика свешиваюсь.

– Что ты, – говорит, – ерзаешь?

– Помилуйте, – говорю, – подумают, что я наемщик.

– С дядей-то?

– Вас здесь не знают; скажут: вот он его уже катает, по всем местам обвезет, а потом закороводит. Маменьку стыдить будут.

Дядя ругаться начал.

Как я ни упирался, а должен был с ним рядом сидеть, чтобы скандала не заводить. Еду, а сам не знаю, куда мне глаза деть, – не смотрю, а вижу и слышу, будто все кругом говорят: «Вот оно как! Арины Леонтьевны Миша-то уж на живейном едет – верно в хорошее место!» Не могу вытерпеть!

– Как, – говорю, – вам, дяденька, угодно, а только я долой соскочу.

А он меня прихватил и смеется.

– Неужели, – говорит, – у вас в Орле уже все подряд дураки, что будут думать, будто старый дядя станет тебя куда-нибудь по дурным местам возить? Где у вас тут самый лучший часовщик?

– Самый лучший часовщик у нас немец Керн почитается; у него на окнах арап с часами на голове во все стороны глазами мигает. Но только к нему через Орлицкий мост надо в Волховскую ехать, а там в магазинах знакомые купцы из окон смотрят; я мимо их ни за что на живейном не поеду.

Дядя все равно не слушает.

– Пошел, – говорит, – извозчик, на Волховскую, к Керну.

Приехали. Я его упросил, чтобы он хоть здесь отпустил извозчика, что я назад ни за что в другой раз по тем же улицам не поеду. На это он согласился. Меня назвал еще раз дураком, а извозчику дал пятиалтынный и часы мне купил серебряные с золотым ободочком и с цепочкой.

– Такие, – говорит, – часы у нас, в Ельце, теперь самые модные; а когда ты их заводить приучишься, а я в другой раз приеду – я тебе тогда золотые куплю и с золотой цепочкой.

Я его поблагодарил и часам очень рад, но только прошу, чтобы все-таки он больше на извозчиках со мною не ездил.

– Хорошо, хорошо, – говорит, – веди меня скорей в Борисоглебскую гостиницу; нам надо там сквозной номер нанять.

Я говорю:

– Это отсюда рукой подать.

– Ну и пойдем. Нам здесь у вас в Орле прохлаждаться некогда. Мы зачем приехали? Себе голосистого дьякона выбрать; сейчас это и делать. Время терять некогда. Проведи меня до гостиницы и сам ступай домой к матери.

Я его проводил, а сам поскорее домой.

Прибежал так скоро, что всего часа еще не прошло, как вышел, и своим дядин подарок, часы, показываю.

Маменька посмотрела и говорит:

– Что ж... очень хороши, – повесь их у себя над кроватью на стенку, а то ты их потеряешь.

А тетенька отнеслась еще с критикой:

– Зачем же это, – говорит, – часы серебряные, а ободок желтый?

– Это, – отвечаю, – самое модное в Ельце.

– Пустяки какие, – говорит, – у них в Ельце выдумывают. Старики умнее в Ельце жили – все носили одного звания: серебряные часы так серебряные, а золотые так золотые; а это на что одно с другим совокуплено насильно, что бог разное по земле рассеял.

Но маменька помирили, что даровому коню в зубы не смотрят, и опять сказали:

– Поди в свою комнату и повесь над кроватью. Я тебе в воскресенье под них

монашкам закажу вышить подушечку с бисером и с рыбьими чешуйками, а то ты как-нибудь в кармане стекло раздавишь.

Я весело говорю:

– Починить можно.

– Как чинить понадобится, тогда часовщик сейчас магнитную стрелку на камень в середине переменит, и часы пропали. Лучше поди скорее повесь.

Я, чтобы не спорить, вбил над кроватью гвоздик и повесил часы, а сам прилег на подушку и гляжу на них, любуюсь. Очень мне приятно, что у меня такая благородная вещь. И как они хорошо, тихо тикают: тик, тик, тик, тик... Я слушал, слушал, да и заснул. Пробуждаюсь от громкого разговора.

Глава седьмая

Раздается за стеною и дядин голос и еще чей-то другой, незнакомый голос; а тоже слышно, что и маменька с тетенькой тут находятся.

Незнакомый рассказывает, что он был уже у Богоявления и там дьякона слушал, и у Никитя тоже был, но «надо, говорит, их вровнях ровно поставить и под свой камертон слушать».

Дядя отвечает:

– Что же, действуй; я в Борисоглебской гостинице все приготовил. Сквозь все комнаты открыты будут. Приезжих никого нет-кричите сколько хотите, обижаться будет некому. Отличная гостиница: туда только одни приказные из палат ходят с челобитчиками, пока присутствие; а вечером совершенно никого нет, и даже перед окнами, как лес, стоят оглобли да лубки на Полешской площади.

Незнакомый отвечает:

– Это нам и нужно, а то у них тоже нахальные любители есть и непременно соберутся мой голос слушать и пересмеивать.

– А ты разве боишься?

– Я не боюсь, а за нахальство рассержусь и побью. А у самого у него голос как труба.

– Я им, – говорит, – на свободе все примеры объясню, как в нашем городе любят. Послушаем, как они подведут и покажут себя на все лады: как ворчком при облачении, как середину, как многолетний верх, как «во блаженном успении» вопль пустить и памятную завойку сделать. Вот и вся недолга.

И дядя согласился.

– Да, – говорит, – надо их сравнять и тогда для всех безобидное решение сделать. Который к нашему елецкому фасону больше потрафит – о том станем хлопотать и к себе его сманим, а который слабже выйдет – тому дадим на рясу за беспокойство.

– Бери деньги с собою, а то у них крадут.

– Да и ты тоже свои с собой бери.

– Хорошо.

– Ну. а теперь ты иди уставляй угощение, а я за дьяконами поеду. Они просили, чтоб в сумерки, – потому что наш народ, говорят, шельма: все пронюхает.

Дядя и на это отвечает согласно, но только говорит:

– Я вот этих сумерек-то у них в Орле боюсь, а теперь скоро совсем стемнеет.

– Ну, я, – отвечает незнакомый, – ничего не боюсь.

– А как ихний орловский подлет с тебя шубу стащит?

– Ну, как же. Так-то он с меня и стащит! Лучше пусть не попадается, а то я, пожалуй, и сам с него все стащу.

– Хорошо, что ты так силен.

– А ты с племянником ступай. Парнище такой, что кулаком вола ушибить может.

Маменька отзывается:

– Миша слаб – где ему защищаться!

– Ну, пусть медных пятков в перчатку возьмет, тогда и крепок сделается.

Тетенька отзывается:

– Ишь что выдумает!

– Ну, а чем я худо сказал?

– На все у вас в Ельце, видно, свое правило.

– А то как же? У вас губернатор правила устанавливает, а у нас губернатора нет, – вот мы зато и сами себе даем правило.

– Как бить человека?

– Да, и как бить человека есть правила.

– А вы лучше до воровского часу не оставайтесь, так ничего с вами и не приключится.

– А у вас в Орле в котором часу настает воровской час?

Тетушка отвечает из какой-то книги:

– «Егда люди потрапезуют и, помоляся, уснут, в той час восстают татие и исходя

грабят».

Дядя с незнакомым рассмеялись. Им это все, что маменька с тетенькой говорили, казалось будто невероятно или нерассудительно.

– Чего же, – говорят, – у вас в таком случае полицмейстер смотрит?

Тетенька опять отвечают от Писания:

– «Аще не Господь хранит дом – всеу бдит строгий». Полицмейстер у нас есть с названием Цыганок. Он свое дело и смотрит, хочет именье купить. А если кого ограбят, он говорит: «Зачем дома не спал? И не ограбили б».

– Он бы лучше чаще обходы посылал.

– Уж посылал.

– Ну и что же?

– Еще хуже стали грабить.

– Отчего же так?

– Неизвестно. Обход пройдет, а подлеты за ним вслед – и грабят.

– А может быть, не подлеты, а сами обходные и грабили.

– Может быть, и они грабили.

– Надо с квартальным.

– А с квартальным еще того хуже – на него если пожалуешься, так ему же и за бесчестье заплатишь.

– Экий город несуразный! – вскричал Павел Мироныч (я догадался, что это был он) и простился и вышел, а дядя пошевеливается и еще рассуждает:

Нет, и вправду, – говорит, – у нас в Ельце лучше. Я на живейном

Не ездите на живейнике! Живейный тебя оберет, да и с санок долой

Ну так как хотите, а я опять племянника Мишу с собой возьму. Нас с ним вдвоем никто не обидит.

Маменька сначала и слышать не хотели, чтобы меня отпустить, но дядя стал обижаться и говорит:

– Что же это такое: я же ему часы с ободком подарил, а он неужели будет ко мне неблагодарный и пустой родственной услуги не окажет? Не могу же я теперь все дело расстроить. Павел Мироныч вышел при моем полном обещании, что я с ними буду и все приготовлю, а теперь вместо того что же, я должен, наслушавшись ваших страхов, дома, что ли, остаться или один на верную погибель идти?

Тетенька с маменькой притихли и молчат.

А дядя настаивает:

– Ежели б, – говорит, – моя прежняя молодость, когда мне было хоть сорок лет, – так я бы не побоялся подлетов, а я муж в летах, мне шестьдесят пятый год, и если с меня далеко от дому шубу долой стащат, то я, пока без шубы приду, непременно воспаление плеч получу, и тогда мне надо молодую рожечницу кровь оттянуть, или я тут у вас и околею. Хороните меня тогда здесь на свой счет у Ивана Крестителя, и пусть над моим гробом вспомнят, что твой Мишка своего дядю родного в своем отечественном городе без родственной услуги оставил и один раз в жизни проводить не пошел...

Тут мне стало так его жалко и так совестно, что я сразу же выскочил и говорю:

– Нет, маменька, как вам угодно, но я дяденьку без родственной услуги не оставляю. Неужели я буду неблагодарный, как Альфред, которого ряженные солдаты по домам представляют? Я вам в ножки кланяюсь и прошу позволения, не заставьте меня быть неблагодарным, дозвоьте мне дядюшку проводить, потому что они мне родной и часы мне подарили и мне будет от всех людей совестно их без своей услуги оставить.

Маменька, как ни смущались, должны были меня отпустить, но только уж зато строго-престрого наказывали, чтобы и не пил, и по сторонам не смотрел, и никуда не заходил, и поздно не запаздывался.

Я ее всячески успокаиваю.

– Что вы, – говорю, – маменька: зачем по сторонам, когда есть прямая дорога. Я при дяде.

– Все-таки, – говорят, – хоть и при дяде, а до воровского часу не оставайся. Я спать не буду, пока вы домой обратите. А потом стала меня за дверью крестить и шепчет:

– Ты на своего дяденьку Ивана Леонтьевича не очень смотри: они в Ельце все колобродники. К ним даже и в дома-то их ходить страшно: чиновников зазовут угощать, а потом в рот силой льют, или выливают за ворот, и шубы спрячут, и ворота запрут, и запоют: «Кто не хочет пить – того будем бить». Я своего братца на этот счет знаю.

– Хорошо-с, – отвечаю, – маменька; хорошо, хорошо! Во всем за меня будьте покойны.

А маменька все свое:

– Сердце мое, – говорят, – чувствует, что это у вас добром не кончится.

Глава восьмая

Наконец вышли мы с дяденькой наружу за ворота и пошли. Что такое с нами

подлеты двумя могут сделать? Маменька с тетенькой, известно, домоседки и не знают того, что я один по десяти человек на один кулак колотил в бою. Да и дяденька еще, хоть и пожилой человек, а тоже за себя постоять могут.

Побежали мы туда, сюда, в рыбные лавки и в ренсковые погреба, всего накупили и все посылаем в Борисоглебскую, в номера, с большими кулками. Сейчас самовары греть заказали, закуски раскрыли, вино и ром расставили и хозяина, борисоглебского гостинника, в компанию пригласили и просим:

– Мы ничего нехорошего делать не будем, но только желание наше и просьба – чтобы никто чужой не слышал и не видал.

– Это, – говорит, – сделайте милость; клоп один разве в стене услышит, а больше некому.

А сам такой соня – все со сна рот крестит.

Вскоре же и Павел Мироныч приехал и обоих дьяконов с собой привез: и богоявленского, и от Никития. Закусили сначала кое-как, начерно, балычка да икорки и сейчас поблагословились за дело, чтобы пробовать.

Три верхние номера все сквозь в одно были отворены. В одном на кроватях одежду сложили, в другом, крайнем, закуску усталили, а в среднем – голоса пробовать.

Прежде Павел Мироныч посредине комнаты стал и показал, что главное у них в Ельце купечество от дьяконов любит. Голос у него, я вам говорил, пристрашный, даже как будто по лицу бьет и в окнах на стеклах трещит.

Даже гостинник очнулся и говорит:

– Вам бы самому и первым дьяконом быть.

– Мало ли что! – отвечает Павел Мироныч, – мне, при моем капитале, и так жить можно, а я только люблю в священном служении громкость слушать.

– Этого кто же не любит!

И сейчас после того, как Павел Мироныч прокричал, начали себя показывать дьякона: сначала один, а потом другой одно и то же самое возглашать. Богоявленский дьякон был черный и мягкий, весь как на вате стега а никитский рыжий, сухой, что есть хреновый корень, и борода маленька смычком; а как пошли кричать, выбрать невозможно, который лучше. В одном роде у одного лучше выходит, а в другом у другого приятнее. Сначала Павел Мироныч представил, как у них в Ельце любят, чтобы издали, ворчанье раздавалось. Проворчал «Достойно есть», и потом «Прободи, владыко» и «Пожри, владыко», а потом это же самое сделали оба дьякона. У рыжего

ворчок вышел лучше. В чтении Павел Мироныч с такого с низа взял, что ниже самого низкого, как будто издалека ветром наносит: «Во время онно». А потом начал выходить все выше да выше и наконец сделал, такое воскликновение, что стекла зазвенели. И дьякона вровнях с ним не отставали.

Ну, потом таким же манером и все прочее, как икатенью вести и как надо певчим в тон подводить, потом радостное многолетие и «о спасении»; потом заунывное – «вечный покой». Сухой никитский дьякон завойкою так всем понравился, что и дядя, и Павел Мироныч начали плакать и его целовать и еще упрашивать, нельзя ли развести от всего своего естества еще поужаснее.

Дьякон отвечает:

– Отчего же нет: мне это религия допускает, но надо бы чистым ямайским ромом подкрепиться – от него раскат в грудях шире идет.

– Сделай твое одолжение – ром на то изготовлен: хочешь из рюмки пей, хочешь из стакана хлещи, а еще лучше обороти бутылку, да и перелей все сразу из горлышка.

Дьякон говорит:

– Нет, я больше стакана за раз не обожаю.

Подкрепились – дьякон и начал снизу «во блаженном успении вечный покой» и пошел все поднимать вверх и все с густым подвоем всем «усопшим владыкам орловским и севским, Аполлосу же и Досифею, Ионе же и Гавриилу, Никодиму же и Иннокентию», и как дошел до «с-о-т-т-в-о-о-р-р-и им» так даже весь кадык клубком в горле выпятил и такую завойку взвыл, что ужас стал нападать, и дяденька начал креститься и под кровать ноги подсовывать, и я за ним то же самое. А из-под кровати вдруг что-то бац нас по булдажкам, – мы оба вскрикнули и враз на середину комнаты выскочили и трясемся...

Дяденька в испуге говорит:

– Ну вас совсем! Оставьте их... не зовите их больше... они уж и так здесь под кроватью толкаются.

Павел Мироныч спрашивает:

– Кто под кроватью может толкаться?

Дядя отвечает:

– Покойнички.

Павел Мироныч, однако, не оробел: схватил свечку с огнем да под кровать, а на свечку что-то дунуло, и подсвечник из рук вышибло, и лезет оттуда в виде как будто

наш купец от Николы, из Мясных рядов.

Все мы, кроме гостинника, в разные стороны кинулись и твердим одно слово:

– Чур нас! чур!

А за этим из-под другой кровати еще другой купец выползает. И мне кажется, что и этот будто тоже из Мясных рядов.

– Что же это значит?

А эти купцы оба говорят:

– Пожалуйста, это ничего не значит... Мы просто любим басы слушать.

А первый купец, который нас с дядей по ногам ударил и у Павла Мироныча свечу вышиб, извиняется, что мы его сами сапогами зашибли, а Павел Мироныч свечою чуть лицо не подпалил.

Но Павел Мироныч рассердился на гостинника и стал его обвинять, что если за номера деньги заплочены, так не надо было сторонних людей без спроса под кровать накладывать.

А гостинник будто все спал, но оказался сильно выпивши.

– Эти хозяева, – говорит, – оба мне родственники: я им хотел родственную услугу сделать. Я в своем доме что хочу – все могу.

– Нет, не можешь.

– Нет, могу.

– А если тебе заплочено?

– Так что же, что заплочено? Это дом мой, а мне мои родные всякой платы дороже. Ты побыл здесь и уедешь, а они здесь всегдашние: вы их ни пятками ткать, ни глаза им жечь огнем не смеее.

– Не нарочно мы их пятками ткали, а только ноги свои подвели, говорит дядя.

– А вы ног бы не подводили, а прямо сидели.

– Мы подвели с ужаса.

– Ну так что за беда. А они к лерегии привержены и желамши слушать...

Павел Мироныч вскипел.

– Да это нешто, – говорит, – лерегия? Это один пример для образования, а лерегия в церкви.

– Все равно, – говорит гостинник, – это все к одному и тому же касается.

– Ах вы, поджигатели!

– А вы бунтовщики.

– Какие?

– Дохлым мясом у себя торговали. Заседателя на ключ заперли!

И пошли в этом роде бесконечные глупости. И вдруг все возмутилось, и уже гостинник кричит:

– Ступайте вы, мукомолы, вон из моего заведения, я с своими мясниками сам продолжать буду.

Павел Мироныч ему и погрозил.

А гостинник отвечает:

– А если грозиться, так я сейчас таких орловских молодцов кликну, что вы ни одного не переломленного ребра домой в Елец не привезете.

Павел Мироныч, как первый елецкий силач, обиделся.

– Ну что делать, – говорит, – зови, если с места встанешь, а я вон из номера не пойду; у нас за вино деньги плочены.

Мясники захотели уйти – верно, вздумали людей кликнуть. Павел Мироныч их в кучу и кричит:

– Где ключ? Я их всех запру.

Я говорю дяде:

– Дяденька! бога ради! Вот мы до чего досиделись! Тут может убийство выйти! А дома теперь маменька и тетенька ждут... Что они думают!.. Как беспокоятся!

Дядя и сам уstraшилcя.

– Хватай шубу, – говорит, – пока отперто, и уйдем.

Выскочили мы в другую комнату, захватили шубы, и рады, что на вольный воздух выкатились; но только тьма вокруг такая густая, что и зги не видно, и снег мокрый-премокрый целыми хлопками так в лицо и лепит, так глаза и застилает.

– Веди, – говорит дядя, – я что-то вдруг все забыл – где мы, и ничего рассмотреть не могу.

– Вы, – говорю, – уж только скорей ноги уносите.

– Павла Мироныча нехорошо что оставили.

– Да ведь что же с ним делать?

– Так-то оно так... но первый прихожанин.

– Он силач; его не обидят.

А снег так и слепит, и как мы из духоты выскочили, то невесть что кажется, будто кто-то со всех сторон вылезает.

Глава девятая

Я, разумеется, дорогу отлично знал, потому что город наш небольшой, и я в нем родился и вырос, но эта темнота и мокрый снег прямо из комнатного жара да из света точно у меня память отуманили.

– Позвольте, – говорю, – дяденька, сообразить, где мы находимся.

– Неужели же ты в своем городе примет не знаешь?

– Нет, знаю, мол; первая примета у нас два собора: один новый, большой, другой старый, маленький, и нам надо промежду их взять направо, а я теперь за этим снегом не вижу ни большого собора, ни малого.

– Вот тебе и раз! Этак и в самом деле с нас шубы снимут или даже совсем разденут, и нельзя знать будет, куда бежать голым. Насмерть простудиться можно.

– Авось, бог даст, не разденут.

– А ты знаешь этих купцов, которые из-под постелей вылезли?

– Знаю.

– Обоих знаешь?

– Обоих знаю, один называется Ефросин Иванов, а другой Агафон Петров.

– И что же – они всамделе купцы?

– Купцы.

– У одного рожа-то мне совсем не понравилась.

– Чем?

– Язовитское в нем ображение.

– Это Ефросин: он и меня раз испугал.

– Чем?

– Мечтанием. Я один раз шел вечером ото всенощной мимо их лавок и стал против Николы помолиться, чтобы пронес бог, – потому что у них в рядах злые собаки; а у этого купца Ефросина Иваныча в лавке соловей свищет, и сквозь заборные доски лампада перед иконой светится. Я прилег к щелке подглядеть и вижу: он стоит с ножом в руках над бычком, бычок у его ног зарезан и связанными ногами брыкается, головой скидывает; голова мотается на перерезанном горле, и кровь так и хлещет; а другой телок в темном угле ножа ждет, не то мычит, не то дрожит, а над парной кровью соловей в клетке яростно свищет, и вдали за Окою гром погромыхивает. Страшно мне стало. Я испугался и крикнул: «Ефросин Иваныч!» Хотел его просить меня до лав

проводить, но он как вздрогнет весь... Я и убежал. И сейчас это в памяти.

– Зачем же ты теперь такую страшность рассказываешь?

– А что же такое? разве вы боитесь?

– Не боюсь, да не надо про страшное.

– Ведь это хорошо кончилось. Я ему на другой день говорю: так – я тебя испугался.

А он отвечает: «А ты меня испугал, потому что я стоял соловья заслушавшись, а ты вдруг крикнул». Я говорю: «Зачем же ты так чувствительно слушаешь?» – «Не могу, – отвечает, – у меня часто сердце заходится».

– Да ты силен или нет? – вдруг перебил дядя.

– Хвалиться, – говорю, – особенной силой не стану, а если пятака три-четыре старинных в кулак зажму, то могу какого хотите подлета треснуть прямо на помин души.

– Да хорошо, – говорит, – если он будет один.

– Ну кто, подлет-то! А если они двое или в целой компании?..

– Ничего, мол: если и двое, так справимся – вы поможете. А в большой компании подлеты не ходят.

– Ну, ты на меня не много надейся: я, брат, стар стал. Прежде, точно, я бивал во славу Божию так, что по Ельцу знали и в Ливнах...

Но не успел он это проговорить, как вдруг слышим, сзади нас будто кто-то идет и еще поспешает.

– Позвольте, – говорю, – мне кажется, как будто кто-то идет.

– А что? И я слышу, что идет, – отвечает дядя.

Глава десятая

Я молчу, дядя мне шепчет:

– Остановимся и вперед его мимо себя пропустим.

А было это уже как раз на спуске с горы, где летом к Балашевскому мосту ходят, а зимой через лед между барками.

Тут исстари место самое глухое. На горе мало было домов, и те заперты, а внизу вправо, на Орлике, дрянные бани да пустая мельница, а сверху сюда обрыв как стена, а с правой сад, где всегда воры прятались. А полицмейстер Цыганок здесь будку построил, и народ стал говорить, что будочник ворами помогает... Думаю, кто это ни подходит – подлет или нет, а в самом деле лучше его мимо себя пропустим.

Мы с дядей остановились... И что же вы думаете: тот человек, который сзади³ ишел, тоже, должно быть, стал – шагов его сделалось не слышно.

– Не ошиблись ли мы, – говорит дядя, – может быть, никто не шел.

– Нет, – отвечаю, – я явственно слышал шаги, и очень близко.

Постояли еще – ничего не слышно; но только что дальше пошли – слышим, он опять за нами поспевает... Слышно даже, как спешит и тяжело дышит.

Мы убавили шаги и идем тише – и он тише; мы опять прибавим шаг – и он опять шибче подходит и вот-вот в самый наш след врезается.

Толковать больше нечего: мы явственно поняли, что это подлет нас следит, и следит как есть с самой гостиницы; значит, он нас поджидал, и когда я на обходе запутался в снегу между большим собором и малым – он нас и взял на примет. Теперь, значит, не миновать чему-нибудь случиться. Он один не будет.

А снег, как назло, еще сильнее повалил; идешь, точно будто в горшке с простоквашей мешаешь: бело и мокро – все облипши.

А впереди теперь у нас Ока, надо на лед сходить; а на льду пустые барки, и чтобы к нам домой на ту сторону перейти, надо сквозь эти барки тесными проходцами пробираться. А у подлета, который за нами следит, верно тут-то где-нибудь и его воровские товарищи спрятаны. Им всего способнее на льду между барок грабить – и убить, и под воду спустить. Тут их притон, и днем всегда можно видеть их места. Логовища у них налажены с подстилкою из костры и из соломы, в которых они лежат, покуривают и до/кидают. И особые женки кабацкие с ними тут тоже привитали. Лихие бабенки. Бывало, выкажут себя, мужчину подманят и заведут, а уж те грабят, а эти опять на карауле караулят.

Больше всего нападали на тех, кто из мужского монастыря от всенощной возвращался, потому что наши певчих любили, и был тогда удивительный бас Струков, ужасного обличья: черный, три хохла на голове и нижняя губа как будто откидной передок в фаэтоне отваливалась. Пока он ревет – она все откинута, а потом захлопнется. Если же кто хотел цел от всенощной воротиться, то приглашали с собой провожатыми приказных Рябыкина или Корсунского. Оба силачи были, и их подлеты боялись. Особливо Рябыкина, который был с бельмом и по тому делу находился, когда приказного Соломку в Щекатихинской роще на майском гулянье убили...

Я рассказываю все это дяде для того, чтобы ему о себе не думалось, а он перебивает:

– Постой, ты меня совсем уморил. Все у вас убивают; отдохнем по крайней мере перед тем, как на лед сходить. Вот у меня еще есть при себе три медных пятака. Бери-ка их тоже к себе в перчатку.

– Пожалуй, давайте – у меня рукавичка с варежкой свободная, три пятака еще могу захватить.

И только что хочу у него взять эти пятаки, как вдруг кто-то прямо мимо нас из темноты вырос и говорит:

– Что, добрые молодцы, кого ограбили? Я думал: так и есть – подлет, но узнал по голосу, что это тот мясник, о котором я сказывал.

– Это ты, – говорю, – Ефросин Иваныч? Пойдем, брат, с нами вместе заодно.

А он второпях проходит, как будто с снегом смешался, и на ходу отвечает:

– Нет, братцы, гусь свинье не товарищ: вы себе свой дуван дуваньте, а Ефросина не трогайте. Ефросин теперь голосов наслышался, и в нем сердце в груди зашедшись... Щелкану – и жив не останешься...

– Нельзя, – говорю, – его остановить; видите, он на наш счет в ошибке: он нас за воров почитает.

Дядя отвечает:

– Да и Бог с ним, с его товариществом. От него тоже не знаешь, жив ли останешься. Пойдем лучше, что бог даст, с одною с божьей помощью. Бог не выдаст – свинья не съест. Да теперь, когда он прошел, так стало и смело... Господи помилуй! Никола, мценский заступник, Митрофаний воронежский, Тихон и Иосаф... Брысь! Что это такое?

– Что?

– Ты не видал?

– Что же тут можно видеть?

– Вроде как будто кошка под ноги.

– Это вам показалось.

– Совсем как арбуз покатился.

– Может быть, с кого-нибудь шапку сорвало.

– Ой!

– Что вы?

– Я про шапку.

– А что такое?

– Да ведь ты же сам говоришь: «сорвали»... Верно, там, на горе, кого-нибудь тормозят.

– Нет, верно, просто ветер сорвал.

И мы с этими словами стали оба спускаться к баркам на лед. А барки, повторяю вам, тогда ставили просто, без всякого порядка, одна около другой, как останоятся. Нагромождено, бывало, так страшно тесно, что только между ними самые узкие коридорчики, где насилу можно пролезть и все туда да сюда загогулями заворачивать надо.

– Ну, тут, – говорю, – дяденька, я от вас скрывать не хочу, – здесь и есть самая опасность.

Дядя замер – уж и святым не молится.

– Идите, – говорю, – теперь вы, дяденька, вперед.

– Зачем же, – шепчет, – вперед?

– Впереди безопаснее.

– А отчего безопаснее?

– Оттого, что если подлет на вас налетит, то вы сейчас на меня взад подадитесь, а я вас тогда поддержу, а его съезжу. А сзади мне вас не видно: подлет вам, может, рукою или скользкою мочалкою рот захватит, – а я и не услышу... идти буду.

– Нет, ты не иди... А какие же у них есть мочалки?

– Скользкие такие. Женки их из-под бань собирают и им приносят рты затыкать, чтобы голосу не было.

Вижу, дядя все это разговаривает, потому что впереди идти боится.

– Я, – говорит, – впереди идти опасаюсь, потому что он может меня по лбу гирей стукнуть, а ты тогда и заступиться не успеешь.

– Ну, а позади вам еще страшнее, потому что он может вас в затылок свайкой свиснуть.

– Какой свайкой?

– Что же это вы спрашиваете: разве вам неизвестно, что такое свайка?

– Нет, я знаю: свайка для игры делается – железная, острая...

– Да, острая.

– С круглой головкой?

– Да, фунта в три, в четыре, головка шариком.

– У нас в Ельце на это носят кистени; но чтобы свайкой – я это в первый раз

слышу.

– А у нас в Орле первая самая любимая мода – по голове свайкой. Так череп и треснет.

– Однако пойдем лучше рядом под ручки.

– Тесно вдвоем между барками.

– А как это... свайкой-то, в самом деле!.. Лучше как-нибудь тискаться будем.

Глава одиннадцатая

Но только мы взялись под локотки и по этим коридорчикам между барок тискаться начали, – слышим, и тот, задний, опять от нас не отстал, опять он сзади за нами лезет.

– Скажи, пожалуй, – говорит дядя, – ведь это, значит, не мясник был?

Я только плечами двинул и прислушиваюсь...

Шуршит, слышно, как боками лезет и вот-вот сейчас меня рукою сзади схватит... А с горы, слышно, еще другой бежит... Ну, видимо дело, подлеты, – надо уходить. Рванулись мы вперед, да нельзя скоро идти, потому что и темно, и тесно, и ледышки торчком стоят, а этот ближний подлет совсем уж за моими плечами... дышит.

Я говорю дяде:

– Все равно нельзя миновать – оборотимся.

Думал так, что либо пусть он мимо нас пройдет, либо уж лучше его самому кулаком с пятаками в лицо встретить, чем он сзади стукнет. Но только что мы к нему передом оборотились, – он как пригнется, бездельник, да как кот между нас шарк!..

Мы оба с дядей так с ног долой и срезались.

Дядя кричит мне:

– Лови, лови, Мишутка! Он с меня бобровый картуз сорвал. А я ничего не вижу, но про часы вспомнил, и хватя себя за часы. А вообразите, моих часов уже нет... Сорвал, бестия!

– С меня с самого, – отвечаю, – часы сняты!

И я, себя позабывши, кинулся за этим подлетом изо всей мочи и на свое счастье впотьмах тут же его за баркою изловил, ударил его изо всей силы по голове пятаками, сбил с ног и сел на него:

– Отдавай часы!

Он хоть бы слово в ответ; но зубами меня, подлец, за руку тяпнул.

– Ах ты, собака! – говорю. – Ишь как кусается! – И треснул его хорошенько

во-усысе да обшлагом рукава ему рот заткнул, а другою рукою прямо к нему за пазуху и сразу часы нашел и вытащил.

Тут же сейчас и дядя подскочил:

– Держи его, держи, – говорит, – я его разутюжу.

И начали мы его утюжить и по-елецки и по-орловски. Жестоко его отколошматили, до того, что он только вырвался от нас, так и не вскрикнул, а словно заяц ударился; и только уж когда за Плаутин колодец забежал, так оттуда закричал «караул»; и сейчас же опять кто-то другой по ту сторону, на горе, закричал «караул».

– Каковы разбойники! – говорит дядя. – Сами людей грабят, и сами еще на обе стороны «караул» кричат!.. Ты часы у него отнял?

– Отнял.

– А что же ты мой картуз не отнял?

– У меня, – отвечаю, – про ваш картуз совсем из головы вышло.

– А вот мне теперь холодно. У меня плешь.

– Наденьте мою шапку.

– Не хочу я твоей. Мой картуз у Фалеева пятьдесят рублей дан.

– Все равно, – говорю, – теперь не видно.

– А ты же как?

– Я так, в простых волосах дойду. Да уж и близко – сейчас за угол завернуть, и наш дом будет.

Моя шапка, однако, вышла дяде мала. Он вынул из кармана носовой платок и платком повязался.

Так домой и прибежали.

Глава двенадцатая

Маменька с тетенькой еще не ложились спать: обе чулки вязали – нас дожидались. И как увидели, что дядя вошел весь в снегу вывален и по-бабьему носовым платком на голове повязан, так обе разом ахнули и заговорили:

– Господи! что это такое!.. Где же зимний картуз, который на вас был?

– Прощай, брат, мой зимний картуз!.. Нет его, – отвечает дядя.

– Владычица наша Пресвятая Богородица! Где же он делся?

– Ваши орловские подлеты на льду сняли.

– То-то мы слышали, как вы «караул» кричали. Я и говорила сестрице: «Вышли

трепачей – я будто невинный Мишин голос слышу».

– Да! Пока бы твои трепачи проснулись да вышли – от нас бы и звания не осталось... Нет, это не мы «караул» кричали, а воры; а мы сами себя оборонили.

Маменька с тетенькой вскипели.

– Как? Неужели и Миша силой усиливался?

– Да Миша-то и все главное дело сделал – он только вот мою шапку упустил, а зато часы отнял.

Маменька, вижу, и рады, что я так поправился, но говорят:

– Ах, Миша, Миша! А я же ведь тебя как просила: не пей ничего и не сиди до позднего, воровского часу. Зачем ты меня не слушал?

– Простите, – говорю, – маменька, – я пить ничего не пил, а никак не смел одного дяденьку там оставить. Сами видите, если бы они одни возвращались, то с ними какая могла быть большая неприятность.

– Да все равно и теперь картуз сняли.

– Ну, теперь еще что!.. Картуз – дело наживное.

– Разумеется – слава богу, что ты часы снял.

– Да-с, маменька, снял. И ах, как снял! – сшиб его в одну минуту с ног, рот рукавом заткнул, чтобы он не кричал, а другою рукою за пазухой обвел и часы вынул, и тогда его вместе с дяденькой колотить начали.

– Ну, уж это напрасно.

– А нет-с! Пусть, шельма, помнит.

– Часы-то не испортились?

– Нет-с, не должно быть – только, кажется, цепочку оборвал.

И с этим словом вынимаю из кармана часы и рассматриваю цепочку, а тетенька всматривается и спрашивают:

– Да это чьи же такие часы?

– Как чьи? Разумеется, мои.

– А ведь твои были с ободочком.

– Ну так что же?

А сам смотрю – и вдруг вижу: в самом деле, на этих часах золотого ободочка нет, а вместо того на серебряной дощечке пастушка с пастушком, и у их ног – овечка...

Я весь затрясся.

– Что же это такое?! Это не мои часы!

И все стоят, не понимают.

Тетенька говорит:

– Вот так штука!

А дяденька успокаивает:

– Постойте, – говорит, – не пугайтесь; верно он Мишуткины часы с собой захватил, а эти с кого-нибудь с другого еще раньше снял.

Но я швырнул эти вынутые часы на стол и, чтобы их не видеть, бросился в свою комнату. А там, слышу, на стенке над кроватью мои часы потюкивают: тик-так, тик-так, тик-так.

Я подскочил со свечой и вижу – они самые, мои часы с ободочком... Висят, как святые, на своем месте!

Тут я треснул себя со всей силы ладонью в лоб и уже не заплакал, а завыл...

– Господи! да кого же это я ограбил!

Глава тринадцатая

Маменька, тетенька, дядя – все испугались, прибежали, трясут меня.

– Что ты, что ты? Успокойся!

– Отстаньте, – говорю, – пожалуйста! Как мне можно успокоиться, когда я человека ограбил!

Маменька заплакали.

– Он, – говорят, – помешался, – он увидел, что ли, что-нибудь страшное!

– Разумеется, увидел, маменька!.. Что тут делать!!

– Что же такое ты увидел?

– А вот это самое, посмотрите сами.

– Да что? где?

– Да вот, вот это! Смотрите! Или вы не видите, что это такое?

Они поглядели на стенку, куда я им показал, и видят: на стенке висят и преспокойно тикают подаренные мне дядей серебряные часы с золотым ободочком...

Дядя первый образумились.

– Свят, свят, свят! – говорит, – ведь это твои часы?

– Ну да, конечно мои!

– Ты их, значит, верно и не надевал, а здесь оставил?

– Да уж видите, что здесь оставил.

– А те-то... те-то... Чьи же это, которые ты снял?

– А я почему знаю, чьи они!

– Что же это! Сестрицы мои, голубушки! Ведь это мы с Мишей кого-то ограбили!

Маменька так с ног долой и срезалась: как стояла, так вскрикнула и на том же месте на пол села.

Я к ней, чтобы поднять, а она гневно:

– Прочь, грабитель!

Тетенька же только крестит во все стороны и приговаривает:

– Свят, свят, свят!

А маменька схватились за голову и шепчут:

– Избили кого-то, ограбили и сами не знают кого!

Дядя ее поднял и успокаивает:

– Да уж успокойся, не путного же кого-нибудь избили.

– Почему вы знаете? Может быть, и путного; может быть, кто-нибудь от больного послан за лекарем.

Дядя говорит:

– А как же мой картуз? Зачем он картуз сорвал?

– Бог знает, что такое ваш картуз и где вы его оставили.

Дядя обиделся, но матушка его оставила без внимания, и опять ко мне:

– Берегла сына столько лет в страхе Божиим, а он вот к чему уготовался: тать не тать, а на ту же стать... Теперь за тебя после этого во всем Орле ни одна путная девушка и замуж не пойдет, потому что теперь все, все узнают, что ты сам подлет.

Я не вытерпел и громко сказал:

– Помилуйте, маменька! Какой же я подлет, когда это все по ошибке!

Но она не хочет и слушать, а все ткнет меня косточками перстов в голову да причитывает причтою по горю-злосчастию:

– Учила: живи, чадо, в незлобии, не ходи в игры и в братчины, не пей две чары за единый вздох, не ложись в место заточное, да не сняли б с тебя драгие порты, не доспеть бы тебе стыда-срама великого и через тебя племени укору и поносу бездельного. Учила: не ходи, чадо, к костырям и к корчемникам, не думай, как бы украсти-ограбити, но не захотел ты матери покориться; снимай теперь с себя платье гостинное, и накинь на себя гуньку кабацкую, и дожидайся, как сейчас будошники застучат в порога и сам Цыганок в наш честный дом ввалится.

И все сама причитает, а сама меня костяшкой пристукивает в голову. А тетенька как услышала про Цыганка, так и вскрикнула:

– Господи! Избавь нас от мужа кровей и от Арида!

Боже мой! То есть это настоящий ад в доме сделался. Обнялись тетенька обе с маменькой, и, обнявшись, обе, плачучи, удалились. Остались только мы вдвоем с дядей.

Я сел, облокотился об стол и не помню, сколько часов просидел; все думал: кого же это я ограбил? Может быть, это француз Сенвенсан с урока шел, или у предводителя Страхова в доме опекунский секретарь жил... Каждого жалко. А вдруг если это мои крестный Кулабухов с той стороны от палатского секретаря шел!.. Хотел – потихоньку, чтобы не видали с кулечком, а я его тут и обработал... Крестник!.. своего крестного!

– Пойду на чердак и повешусь. Больше мне ничего не остается.

А дядя только ожесточенно чай пил, а потом как-то – я даже и не видал как – подходит ко мне и говорит:

– Полно сидеть повеся нос, надо действовать.

– Да что же, – отвечаю, – разумеется, если бы можно узнать, с кого я часы снял...

– Ничего; вставай поскорее и пойдем вместе, сами во всем объявимся.

– Кому же будем объявляться?

– Разумеется, самому вашему Цыганку и объявимся.

– Срам какой сознаваться!

– А что же делать? Ты думаешь, мне охота к Цыганку?.. А все-таки лучше самим повиниться, чем он нас разыскивать станет: бери обои часы и пойдем.

Я согласился.

Взял и свои часы, которые мне дядя подарил, и те, которые ночью с собой принес, и, не здоровавшись с маменькою, пошли.

Глава четырнадцатая

Пришли в полицию, а Цыганок сидит уже в присутствии перед зеркалом, а у его дверей стоит молодой квартальный, князь Солнцев-Засекин. Роду был знаменитого, а талану неважного.

Дядя увидел, что я с этим князем поклонился, и говорит:

– Неужели он правду князь!

– Ей-богу, поистине.

– Поблести ему чем-нибудь между пальцев, чтобы он выскочил на минутку на лестницу.

Так и сделалось: я повертел полуполтинник – князь на лестницу и выскочил.

Дядя дал ему полуполтинник в руку и просит, чтобы нас как можно скорее в присутствие пустить.

Квартальный стал сказывать, что нонче, говорят, ночью у нас в городе произошло очень много происшествиев.

– И с нами тоже происшествие случилось.

– Ну да ведь какое? Вы вот оба в своем виде, а там на реке одного человека под лед спустили; два купца на Полешской площади все оглобли, слуги и лубки поваляли; один человек без памяти под корытом найден, да с двоих часы сняли. Я один и остаюсь при дежурстве, а все прочие бегают, подлетов ищут...

– Вот, вот, вот, ты и доложи, что мы пришли дело объяснить.

– Вы подравшись или по родственной неприятности?

– Нет, ты только доложи, что мы по секретному делу; нам об этом деле при людях объяснять совестно. Получи еще полмонетки.

Князь спрятал полтинник в карман и через пять минут кличет нас:

– Пожалуйста.

Глава пятнадцатая

Цыганок такой был хохол приземистый – совсем как черный таракан; усы торчком, а разговор самый грубый, хохлацкий.

Дядя по-своему, по-елецки, захотел было к нему близко, но он закричал:

– Говорите здалеча.

Мы остановились.

– Что у вас за дело?

Дядя говорит:

– Перво-наперво – вот.

И положил на стол барашка в бумажке. Цыганок прикрыл.

Тогда дядя стал рассказывать:

– Я елецкий купец и церковный староста, приехал сюда вчерашний день по духовной надобности; пристал у родственниц за Плаутиным колодцем...

– Так это вас, что ли, нонче ночью ограбили?

– Точно так; мы возвращались с племянником в одиннадцать часов, и за нами следовал неизвестный человек; а как мы стали переходить через лед между барок, он...

– Постойте... А кто же с вами был третий?

– Третьего с нами никого не было, кроме этого вора, который бросился...

– Но кого же там ночью утопили?

– Утопили?

– Да!

– Мы об этом ничего не известны.

Полицмейстер позвонил и говорит квартальному:

– Взять их за клин!

Дядя взмолился.

– Помилуйте, ваше высокоблагородие! Да за что же нас!.. Мы сами пришли рассказать...

– Это вы человека утопили?

– Да мы даже ничего и не слышали, ни о каком утоплении. Кто утонул?

– Неизвестно. Бобровый картуз изгаженный у проруби найден, а кто его носил – неизвестно.

– Бобровый картуз?!

– Да; покажите-ка ему картуз, что он скажет? Квартальный достал из шкафа дядин картуз.

Дядя говорит:

– Это мой картуз. Его вчера с меня на льду вор сорвал.

Цыганок глазами захлопал.

– Как вор? Что ты врешь! Вор не шапку снял, а вор часы украл.

– Часы? с кого, ваше высокоблагородие?

– С никитского дякона.

– С никитского дякона!

– Да; и его очень избили, этого никитского дякона.

Мы, знаете, так и обомлели.

Так вот это кого мы обработали!

Цыганок говорит:

– Вы должны знать этих мошенников.

– Да, – отвечает дядя, – это мы сами и есть.

И рассказал все, как дело было.

– Где же теперь эти часы?

– Извольте – вот одни часы, а вот другие.

– И только?

Дядя пустил еще барашка и говорит:

– Вот это еще к сему.

Прикрыл и говорит:

– Привести сюда дьякона!

Глава шестнадцатая

Входит сухощавый дьякон, весь избит и голова перевязана. Цыганок на меня смотрит и говорит:

– Видишь?!

Кланяюсь и говорю:

– Ваше высокоблагородие, я все претерпеть достоин, только от дальнего места помилуйте. Я один сын у матери.

– Да нет, ты христианин или нет? Есть в тебе чувство?

Я вижу этаким разговор не соответственный и говорю:

– Дяденька, дайте за меня барашка, вам дома отдадут.

Дядя подал.

– Как это у вас происходило?

Дьякон стал рассказывать, что «были, говорит, мы целой компанией в Борисоглебской гостинице, и очень все было хорошо и благородно, но потом гостинник посторонних слушателей под кровать положил за магарыч, а один елецкий купец обиделся, и вышла колотовка. Я тихо оделся и сам вышел, но как обогнул присутственные места, вижу, впереди меня два человека подкарауливают. Я останавлиюсь, чтобы они ушли дальше, и они остановятся; я пойду – и они идут. А вдруг между тем издали слышу, еще меня кто-то сзади настигает... Я совсем испугался, бросился, а те два обернулись ко мне в узком проходе между барок и дорогу мне загородили... А задний с горы совсем нагоняет. Я поблагословился в уме: Господи, благослови! Да пригнулся, чтобы сквозь этих двух проскочить, и проскочил, но они меня нагнали, с ног свалили, избили и часы сорвали... Вот и цепочки обрывок».

– Покажите цепочку.

Сложил обрывочек цепочки с тем, что при часах остался, и говорит:

– Это так и есть. Смотрите, ваши эти часы?

Дьякон отвечает:

– Это самые мои, и я их желаю в обрат получить.

– Этого нельзя, они должны остаться до рассмотрения.

– А как же, – говорит, – за что я избит?

– А вот это вы у них спросите.

Тут дядя вступился.

– Ваше высокородие! Что же нас спрашивать понапрасну. Это в действительности наша вина, это мы отца дьякона били, мы и исправимся. Ведь мы его к себе в Елец берем.

А дьякон так обиделся, что совсем и не в ту сторону.

– Нет, – говорит, – позвольте еще, чтобы я в Елец согласился. Бог с вами совсем: только упросили, и сейчас же на первый случай такое надо мной обхождение.

Дядя говорит:

– Отец дьякон, да ведь это в ошибке все дело.

– Хороша ошибка, когда мне шею нельзя повернуть.

– Мы тебя вылечим.

– Нет, я, – говорит, – вашего лечения не хочу, меня всегда у Финогеича банщик лечит, а вы мне заплатите тысячу рублей на отстройку дома.

– Ну и заплатим.

– Я ведь это не в шутку; меня бить нельзя... на мне сан.

– И сан удовлетворим.

И Цыганок тоже дяде помогать стал:

– Елецкие, – говорит, – купцы удовлетворят... Кто там еще за клином есть?

Глава семнадцатая

Вводят борисоглебского гостинника и Павла Мироныча. На Павле Мироныче сюртук изодран, и на гостиннике тоже.

– За что дрались? – спрашивает Цыганок.

А они оба кладут ему по барашку на стол и отвечают:

– Ничего, – говорят, – ваше высокоблагородие, не было, мы опять в полной приязни.

– Ну, прекрасно, если за побои не сердитесь – это ваше дело; а как же вы смели сделать беспорядок в городе? Зачем вы на Полешской площади все корыты, и лубья, и оглобли повалили?

Гостинник говорит, что по нечаянности.

– Я, – говорит, – его хотел вести ночью в полицию, а он – меня; друг дружку тянули за руки, а мясник Агафон мне поддерживал; в снегу сбились, на площадь попали – никак не пролезть... все валяться пошло... Со страху кричать начали... Обход взял... часы пропали...

– У кого?

– У меня.

Павел Мироныч говорит:

– И у меня тоже.

– Какие же доказательства?

– Для чего же доказательства? Мы их не ищем.

– А мясника Агафона кто под корыто подсунул?

– Этого знать не можем, – отвечает гостинник, – не иначе как корыто на него повалилось и его прихлопнуло, а он заснул под ним хмельной. Отпустите нас, ваше высокоблагородие, мы ничего не ищем.

– Хорошо, – говорит Цыганок, – только надо других кончить. Введите сюда другого дьякона. Пришел черный дьякон. Цыганок ему говорит:

– Вы это зачем же ночью Судку разбили?

Дьякон отвечает:

– Я, – говорит, – ваше высокоблагородие, был очень испугавшись.

– Чего вы могли испугаться?

– На льду какие-то люди стали громко «караул» кричать; я назад бросился и прошусь к будошнику, чтобы он меня от подлетов спрятал, а он гонит: «Я, – говорит, – не встану, а подметки под сапоги отдал подкинуть». Тогда я с перепугу на дверь понапер, дверь сломалась. Я виноват – силом вскочил в будку и заснул, а утром встал, смотрю: ни часов, ни денег нет.

Цыганок говорит:

– Что же, елецкие? Видите, и этот дьякон через вас пострадал, и у него часы пропали.

Павел Мироныч и дядя отвечают:

– Ну, ваше высокоблагородие, нам надо домой сходить занять у знакомцев, здесь при нас больше нету.

Так и вышли все, а часы там остались, и скоро в этом во всем утешились, и много еще было смеху и потехи, и напился я тогда с ними в первый раз в жизни пьян в Борисоглебской и ехал по улице на извозчике, платком махал. Потом они денег в Орле заняли и уехали, а дьякона с собой не увезли, потому что он их очень забоялся. Как ни просили – не поехал.

– Я, – говорит, – очень рад, что мне господь даровал с вас за мою обиду тыщу рублей получить. Я теперь домик обстрою и здесь хорошее место у секретаря выхлопочу, а вы, елецкие, как я вижу, очень дерзки.

Для меня же настало испытанье ужасное. Маменька от гнева на меня так занемогли, что стали близко гробу. Унылость во всем доме стала повсеместная. Лекаря Дедиша не хотели: боялись, что он будет обо всем состоянье здоровья расспрашивать. Обратились к религии: в девичьем монастыре тогда жила мать Евникея, у которой была иорданская простыня, как Евникея в Иордане-реке омочилась, так ею потом отерлась. Этой простыней маменьку скрывали. Не помогло. Каждый день в семи церквах с семи крестов воду спускали. Не помогло. Мужик-леженка был, Есафейка, все лежнем лежал, ничего не работал, – ему картуз яблочной резани послали, чтобы молился. То же самое и от этого помощи не было. Только наконец, когда они вместе с сестрой в Финогеевичевы бани пошли и там их рожечница крови сколола, только тогда она чем-нибудь распорядиться стала. Иорданскую простыню Евникее велела отдать назад, а себе стала искать взять в дом сиротку воспитывать.

Это свахино было научение. Своих детей у нее много было, но она еще до сирот была очень милая – все их приючала и маменьке стала говорить:

– Возьми в дом чужое дитя из бедности. Сейчас все у тебя в своем доме переменится: воздух другой делается. Господа для воздуха расставляют цветы, конечно, худа нет; но главное для воздуха – это чтоб были дети. От них который дух идет, и тот ангелов радует, а сатана – скрежещет... Особенно в Пушкарной теперь одна девка: так она с дитем бьется, что даже под орлицкую мельницу уже топить носила.

Маменька проговорила:

– Скажи, чтоб не топила, а мне подкинула.

В тот же день у нас девочка Маврутка и запищала и пошла кулачок сосать. Маменька ею занялась, и перемена в них началась. Стали мне оказывать язвительность.

– Тебе, – говорят, – к Велико Дню ведь обновы не надо; ты теперь пьющий, тебе довольно гуньку кабацкую.

Я уже все терпел дома, но и на улицу мне тоже нельзя было глаза показать, потому что рядовичи, как увидят, дразнятся:

– С дьякона часы снял.

Ни дома не жить, ни со двора пройтись.

Одна только сирота Маврутка мне улыбалась.

Но сваха Матрена Терентьевна меня спасла и выручила. Простая была баба, а такая душевная.

– Хочешь, – говорит, – молодец, чтоб тебе голову на плечи поставить? Я так поставлю, что если кто над тобой и смеяться будет – ты и не почувствуешь.

Я говорю:

– Сделайте милость, мне жить противно.

– Ну, так ты, – говорит, – меня одну и слушай. Поедем мы с тобою во Мценск – Николе Угоднику усердно помолимся и ослопную свечу поставим; и женю я тебя на крале на писаной, с которой ты будешь век вековать, Бога благодарить да меня вспоминать и сирот бедных жаловать, потому я к сиротам милосердная.

Я отвечаю, что я сирот и сам сожалею, а замуж за меня теперь которая же хорошая девушка пойдет.

– Отчего же? Это ничего не значит. Она умная. Ты ведь не со двора вынес, а к себе принес. Это надо различать. Я ей прикажу понять, так она все въявь поймет и очень за тебя выйдет. А мы съездим как хорошо к Николе во все свое удовольствие: лошадка в тележке идти будет с клажею, с самоваром, с провизией, а мы втроем пешком пойдем по протуварчику, для Угодника потрудимся: ты, да я, да она, да я себе для компании сиротку возьму. И она, моя лебедка, Аленушка, тоже сирот сожалеет. Ее со мной во Мценск отпускают. И вы тут с ней пойдете-пойдете, да сядете, а посидите-посидите, да опять по дорожке пойдете и разговоритесь, а разговоритесь, да слюбитесь, и как вкусишь любви, так увидишь ты, что в ней вся наша и жизнь, и радость, и желание прожить в семейной тихости. А на все людские речи тебе тогда будет плевать, да и лица не взвораживать. Так все доброй пойдет, и бывшая шалость забудется.

Я и отпросился у маменьки к Николе, чтобы душу свою исцелить, а остальное все стало, как сваха Терентьевна сказывала. Подружился я с девицей Аленушкой, и позабыл я про все про истории; и как я на ней женился и пошел у нас в доме детский дух, так и

маменька успокоилась, а я и о с ю пору живу и все говорю: благословен еси,⁹
Господи!

1887